

Александр Хряков

## КАЗУС GERMANIA: НЕМЕЦКИЕ ИСТОРИКИ И ПСИХОЛОГИЯ «ОСОБОГО ПУТИ»

1

В своих «Размышлениях аполитичного», опубликованных в последние дни Первой мировой войны, Томас Манн так сформулировал свое отношение к причинам этого конфликта: «Итак, я полагаю, что сейчас наступила всеобъемлющая ясность относительно того, что духовные корни этой войны, которую с полным на то правом называют “немецкой войной”, обнаруживаются во врожденном, историческом “протестантстве” Германии и что сама эта война означает новый взрыв великолепной, как полагают многие, последней, древней немецкой борьбы против духа Запада, или борьбы римского мира против своевольной Германии»<sup>1</sup>. Главную опасность для своих идеалов писатель видел в проповедуемых западными странами, прежде всего Англией и Францией, принципах Просвещения и демократии. Политика вообще и демократия в частности (для Манна эти понятия были синонимичными) представлялись продуктом западной утилитарно-рассудочной цивилизации, которую он противопоставлял якобы изначально *духовной* культуре своей страны<sup>2</sup>.

Подчеркивая контраст германской *культуры* и западной *цивилизации* (а эта дихотомия была, по словам Н. Элиаса, подлинным «выражением немецкого самосознания»<sup>3</sup>), Манн выделяет специфические, существенные черты не только своего народа, но и его противников. Национальные различия, как правило, воспринимаются и интеллектуалами и обывателями неизменными, существующими от века, и поэтому самое главное — вычлнить эту «сущность», тот набор элементов, что скрывается в национальном характере. Как пишет все тот же Элиас, «исторические перемены кажутся затрагивающими только что-то внешнее, а народ, нация — пребывающими без изменений. Английская, немецкая, французская, американская или итальянская нация — равно как и все прочие — наделяются непреходящим характером в сознании тех, кто к ним принадлежит. По своей “сущности” они всегда равны самим себе, идет ли речь о X веке или о XX веке»<sup>4</sup>.

Следуя за «Размышлениями аполитичного», можно кратко сформулировать идеальный образ нации в глазах немецких консерваторов, а также уточнить их представления о ее извечном враге — римском Западе: «Различие между духом и политикой содержит в себе различие между культурой и цивилизацией, душой и обществом, свободой и всеобщим избирательным правом, искусством и литературой; германство (Deutschtum) — это как раз и есть культура, душа, свобода, искусство, но не цивилизация, общество, всеобщее избирательное право, литература»<sup>5</sup>. Германскому духу чужда любая политика, его всемирно-историческое предназначение, его «прирожденная миссия» — защита духовной культуры от надвигающейся с Запада угрозы механицизма и засилья «массы», угрожающей культуре. Немецкий народ, по мнению Манна, не является социальным народом, он далек от понимания «жизни» как общественного существования, и лишь

духовное существование — мораль, внутреннее переживание и так далее — означает для немцев гораздо больше, чем любые политические или экономические перемены. Что касается формы государственного правления, то в отличие от западных демократий лучшим для немцев, по мнению создателя «Будденброков», является «многожды ославленное “чиновничье, полицейское государство”».

Сегодня эту раннюю работу немецкого писателя можно рассматривать исключительно как «важный симптом современности» — именно так обозначил ее сам автор. Повседневный милитаризм вильгельмовской Германии подготовил почву для укоренения в обществе военизированной ментальности, и начало войны немецкого Рейха против мнимой западной угрозы самим основам его «духовного бытия» было встречено поначалу всеобщим воодушевлением. Оно воскресило ожидание того будущего, которое обещало решение всех проблем современного индустриального общества. На место разобщенности и раскола должна была прийти новая общность, созданная на основе «органических» ценностей. Начавшаяся война обещала обуздать жесткой дисциплиной так называемую «массу», дать молодежному движению некие действенные формы реализации вместо прежних игровых; но прежде всего с войной связывали надежды на преодоление классового раскола и дезинтеграции, на включение ранее изолированного рабочего движения в заново определяемое национальное сообщество. Именно к ним, избирателям социал-демократов, был обращен призыв Вильгельма II: «Для меня в Германии нет больше партий, а есть только немцы!»

Интеллектуальным и философским оправданием чувства внутреннего единства и внешнего превосходства служили так называемые «идеи 1914 года», с которыми немецкие интеллектуалы связывали свой вклад в начавшуюся войну, неся службу, по словам Манна, на «фронте мыслей». При этом речь шла об обнаружении как сущностных, так и исторически оправданных антагонизмов между негативно оцениваемой западной цивилизацией, с одной стороны, и выдающейся немецкой культурой — с другой; между западной демократией, восходящей к «фальшивым» идеям 1789 года, и все еще расплывчатыми немецкими представлениями о собственной национально-политической общности. Для интеллектуальной элиты Германии это был желанный шанс покинуть башню из слоновой кости и мобилизовать свой интеллект на благо национальной общности<sup>6</sup>.

Показательной для демонстрации националистического самовосхищения можно назвать позицию немецкого писателя Германа Бара, которую он высказал на страницах «Berliner Tageblatt» 14 августа 1914 года. «Нам явилась немецкая сущность, — ликовал он. — Мы теперь впервые знаем, кто мы такие в действительности. Это неопишуемый подарок нашего великого времени... Мы снова в ладу с собой, теперь мы только немцы. Все немецкие раны исчезли. Мы выздоровели. Слава войне, которая нас в первый же день избавила от всех немецких наследственных болезней»<sup>7</sup>. Это был язык национализма, который шаманским камланием чувственно усиливал веру в единство Германии. Националистический язык создавался с помощью специфических ключевых слов и эмоциональных лозунгов, с помощью вызывающих аффекты метафор и сентенций, которые подогревали создающую солидарность динамику. «Мы живем, — писал Эрнст Толлер об «августовских переживаниях» 1914 года, — в упоении чувствами. Слова “Германия”, “Отечество”, “война” имеют магическую силу, когда мы их

произносим, они не испаряются, они парят в воздухе, кружат вокруг нас, воспаляя себя и нас»<sup>8</sup>.

Война необычайно усилила эмоциональное восприятие происходящего, в ходе нее возникла некая «новая чувствительность» (Т. Манн), и катастрофическое поражение в войне сыграло ничуть не меньшую роль в рождении этой чувствительности, чем ее бравурное начало. К чувству оскорбленной чести, стыда, злости и разочарования в начале 1920-х добавился страх перед безработицей и инфляцией, массовым насилием, с одной стороны, и упоение властью и некое раскованное наслаждение жизнью — с другой. Вообще историю Веймарской республики, а также нацистского периода невозможно понять без обращения к коллективным чувствам германского общества, и в этом нельзя не согласиться с немецкой исследовательницей Уте Фреверт, заявившей, что «как раз в истории XX века эмоции приобретают специфически историческое значение... до этих пор язык редко черпал столь экстенсивно и чрезмерно из арсенала чувств»<sup>9</sup>.

С точки зрения исторической памяти спецификой любой войны является ее духовное «продолжение» в послевоенное время. Опыт военных лет, страдания, интеллектуальная и физическая мобилизация не заканчиваются резко с заключением перемирия. И если в большинстве случаев осознание победы или поражения приходит заблаговременно, то разгром центрально-европейских держав в 1918 году все же стал шоком, к которому едва ли кто-то был готов. «Моя честь, я потерял свою честь, моя честь, плакала моя честь», — записал в своем дневнике 10 ноября 1918 года гейдельбергский медиевист Карл Хампэ (1869—1936). «Когда вечером фрейлейн Марга принесла ужасающие условия перемирия и мы увидели перед собой черным по белому (то, что ни в коем случае не могли ожидать), наше с таким трудом сдерживаемое самообладание исчезло, и мы вместе заплакали». Этот день «стал самым несчастным днем в жизни» автора дневника<sup>10</sup>.

## 2

Такие чувства и эмоции, как любовь, ненависть, страх, печаль, надежда, доверие, гордость, стыд и масса других, не только сами изменяются во времени и, значит, имеют свою историю, но и сами творят эту историю. Данная активная роль эмоциональных и аффективных переживаний происходит от того, что они, как правило, непосредственно относятся к действию, они мотивируют практически все социальные практики, которые становятся эмоционально окрашенными<sup>11</sup>. Подобное понимание роли эмоций в социальной жизни людей стало возможным в гуманитарных науках во многом благодаря работе немецких социологов прошлого века, прежде всего М. Вебера и особенно Г. Зиммеля. Они ратовали за смену масштабов изучаемых явлений, переместив внимание науки от анализа общих факторов или систем на типы «социальных действий» (Вебер) и «социальных взаимодействий» (Зиммель)<sup>12</sup>.

Люди обмениваются взглядами, люди ревнуют друг к другу; они пишут письма или вместе садятся обедать; они относятся друг к другу с симпатией или антипатией, совершенно независимо от всяких явных интересов; благодарность за совершенный альтруистический поступок влечет за собою неразрывную и обязывающую цепь последствий; один человек расспрашивает другого о дороге; они одеваются и наряжаются друг для

друга, — целые тысячи перебрасывающихся от личности к личности отношений, мгновенных или длительных, сознательных или бессознательных, мимолетных или чреватых последствиями, из которых мы выбрали первые попавшиеся примеры, непрерывно связываются между собою... Все эти непрерывно текущие физические и душевные прикосновения, взаимное возбуждение удовольствия и страдания, разговоры и молчание — только это и создает удивительную неразрывность общества, приливы и отливы его жизни, в которых его элементы беспрестанно находят, теряют и перестраивают свое равновесие<sup>13</sup>.

Этот пассаж Зиммеля, написанный еще в 1908 году, продолжает оставаться актуальным вплоть до наших дней, особенно для тех гуманитариев, которые не только видят в истории действия анонимных структур и объективных процессов, но интересуются деятельностью исторических акторов, их социальными взаимодействиями, культурными мотивациями, имеющими эмоциональное и символически-смысловое наполнение.

В большинстве своем эмоции фиксируются в определенных ключевых представлениях, понятиях и оборотах речи, приобретающих в новых условиях совершенно иной смысловой оттенок. Характерной особенностью данных оборотов речи является их в высшей степени аффективное определение, что делало содержание этих понятий неточным и постоянно меняющимся. Подобная расплывчатость вела к легкости в их употреблении и ориентации на практическое применение, к нацеленности на действие. По мнению немецкого историка права Оливера Лепсиуса, такая неопределенность сулила упразднение и снятие противоречий между извечными противоположностями: «объективный» — «субъективный», «природа» — «дух», «бытие» — «долженствование», «объективная ценность» — «субъективная оценка» и т.д. В послевоенной Германии эти научные антитезы казались синонимами общественного раскола и деградации, их место в научно-политическом дискурсе заняли так называемые «снимающие противоречия понятия» (*gegensatzaufhebende Begriffsbildung*) (используя удачный термин О. Лепсиуса). Помимо содержательной неопределенности и эмоциональной нагруженности, обороты типа «господство как служение», «свобода как служение», наконец, «истина как служение» существовали в двух плоскостях, не только в научной, но и в социально-политической. В этих «снимающих противоречия понятиях» одновременно присутствовал сильнейший стимул к соучастию, совместной деятельности по достижению общих целей<sup>14</sup>. В их употреблении проявлялись иррациональные мотивы поведения немецкой интеллектуальной элиты, мотивы, совершенно непроговариваемые, но стремящиеся к практическому воплощению.

Пожалуй, наиболее известной парой противостоящих друг другу понятий в первой половине XX века в Германии являлись «общность» (*Gemeinschaft*) и «общество» (*Gesellschaft*). Практически на протяжении всего XIX века эти понятия употреблялись как синонимичные, в том числе и в немецкоязычном пространстве<sup>15</sup>. И только начиная со знаменитой работы Ф. Тённиса, эти категории получили совершенно различное толкование. Тённиса как одного из «отцов-основателей» немецкой социологии заботила прежде всего выработка «основных понятий чистой социологии» независимо от того, существуют ли такие «идеально-типические» формы в реальной жизни<sup>16</sup>. Антропологически понятия «общность» и «общество» выводились Тённисом из двух форм человеческой воли: сущностной и из-

бирательной. В данном случае немецкий социолог имеет в виду социальную волю, то есть определенным образом согласованные действия, совершаемые людьми. «Сущностная воля есть психологический эквивалент человеческого тела, или принцип единства жизни, поскольку последняя мыслится в той форме действительности, которой принадлежит само мышление». Данная воля стоит за «реальной и органической» связью людей между собой, на основе которой возникает «устойчивая и подлинная совместная жизнь», и потому «общность» должна, по мнению Тённиса «пониматься как живой организм». В отличие от «сущностной воли», «избирательная воля есть порождение самого мышления, и потому собственно действительность присуща ей лишь в связи с ее носителем — субъектом мышления». В этом случае связь между людьми становится «идеальной и механической», а возникающее таким образом «общество» должно пониматься как «механический агрегат и артефакт».

«Общность» покоится на единстве и согласии сторон, на тесных персональных связях, исключающих любых формальных посредников в практике отношений. Типичные формы «общности» Тённис видит в родстве, соседстве и дружбе, что может быть реализовано лишь в семье, в деревне и городе, понимаемом как скопление нескольких деревень, обнесенных стеной. Жизнь здесь поддерживается единодушием, обычаями, религией, являющимися для людей своего рода смыслоутверждающими инстанциями.

В отличие от «общности», «общество» является скорее параллельным существованием индивидов, связанных исключительно договорными или контрактными обязательствами. В «обществе» «каждый выступает только за себя, а в состоянии повышенной напряженности — и против всех прочих», поэтому для общества характерно состояние «враждебности», или «латентной войны». Типичные формы общности Тённис находит в большом городе, нации и крупном индустриальном предприятии. Но ярче всего различие между «общностью» и «обществом» в работе Тённиса просматривается в употреблении прилагательных, качественно характеризующих две эти формы общежития: «теплое» — «холодное», «органическое» — «механическое», «живое» — «искусственное», «чувственное» — «рациональное».

Несмотря на то что книга немецкого социолога была написана в 1887 году, знаковым понятие «общность» стало лишь в ходе Первой мировой войны, направленной, по мнению части немецких идеологов, как против современности, так и против западного общества. После катастрофы 1918 года, благодаря «фронтной общности» и «солдатскому братству», само слово «общность» стало в Германии не только паролем культурно-общественного возрождения, но и призывом к борьбе для всех, кто не принимал рациональные ценности западного общества, навязанные союзниками условия Версальского мира, а также «предательски совершенную» «социалистическую» революцию. Кроме того, тённисовская дихотомия позволяла довольно легко сформулировать сущностные, лежащие в эмоционально-психологической сфере, различия между Германией и ее противниками. Еще в 1905 году немецкий социолог и экономист Вернер Зомбарт, анализируя ситуацию в Америке, писал: «Здесь все общинные процессы, все выросшее органически изжито»; здесь есть лишь «чистое общество», концентрированное на своем холоде<sup>17</sup>. По мнению других немецких интеллектуалов, американцы обладали чувством сообщества, но в отличие от немецкого оно не было таким глубоким, скорее, напротив, поверхностным, проявляясь в вездесущем дружеском ритуале учтивости. К таким

проявлениям симпатии и дружбы нужно относиться не более серьезно, чем к учтивости и улыбкам продавца в лавке, нацеленного исключительно на кошелек покупателя. «Всемогущество экономического и дух официальной рационализации господствуют теперь повсюду», — полагал в 1921 году Эрнст Трёльч в своей статье «Американизация Германии». По его мнению, «немецкая духовность» в самых своих основах находится под угрозой<sup>18</sup>.

Сам Тённис отрицательно относился к подобного рода инфляционному разрастанию некогда строго определенного понятия «общность». В предисловии к восьмому изданию своей книги, вышедшей в 1935 году, он писал: «...ни пятьдесят лет назад, ни теперь я не собирался предлагать в этой книге этический или политический трактат, и... уже в первом своем предисловии я настоятельно предостерегал от неправильных толкований и от мнящих себя проникательными попыток извлечь отсюда практическую пользу»<sup>19</sup>.

Но, несмотря на все предупреждения автора, его антитеза стала ключевой категорией немецкого мышления. По словам Карла Шмита, «дихотомия сообщества и общества в Германии в первой половине настоящего столетия имела определяющее влияние на все представления и понятия, что относились к совместной жизни людей. С помощью этой дихотомии осуществлялась первая, самая общая, основополагающая и всем овладевающая ориентация», с чьей помощью ставшее таким ненадежным будущее вновь поддавалось оформлению<sup>20</sup>. Рене Кёниг, бывший в 1920-е годы студентом в Вене и Берлине, вспоминал, что «общность» была волшебным понятием, объединявшим интеллектуалов Веймарской эпохи. «Вся социология, — писал он в своих воспоминаниях, — строилась вокруг понятия “общность” и против понятия “общество”»<sup>21</sup>.

Социальные формы буржуазных свободных объединений по интересам, как они идеально-типически были представлены в ферейнах (Verein), уже с начала XX века натолкнулись на общественное пренебрежение и потеряли свое социальное значение. Их место заняла, по словам Ганса Моммзена, «фикция закрытой мыслительной и жизненной общности»<sup>22</sup>. Прежде всего в среде молодежного движения, а через него и по всей Германии возобновилось желание преодолеть различные формы совместного существования, доставшиеся в наследство от буржуазного XIX века, и вместо этого вернуться к «общинным» недоговорным формам социальной организации, таким, например, как «союз» (Bund).

Понятие «союз», как и понятие «общность», в традициях политического и гражданско-правового языка Германии существовало довольно давно, но как социальная категория на протяжении XIX века практически не воспринималось. Именно поэтому такого внимания заслужили рассуждения философа Германа Шмаленбаха, быстро пробившие себе дорогу к практическому воплощению. В 1922 году он, отталкиваясь от тённисовской дихотомии «общности» и «общества», ввел третью «основополагающую категорию социологии», а именно — «союз», возникающий между молодыми людьми, покидающими родительский дом и объединяющимися в «дружеские союзы»<sup>23</sup>.

Формально для Шмаленбаха «союз» располагался между рационально устроенным обществом, с одной стороны, и эмоционально связанной общностью, с другой, но совершенно очевидно, что по всем признакам «союз» ближе к «общности». От «общности» «союз» отличается лишь тем, что его члены не имеют между собой кровного родства; союз, по мнению Шмаленбаха, образуется благодаря определенной встрече, в ходе которой возникает один из мощнейших и чувственно окрашенных симбиозов. «Эмо-

циональные переживания» вообще являлись для немецкого социолога конститутивными для определения «союзнических» (bündisch) связей. Этот эмоциональный компонент новой формы, прежде всего молодежных ассоциаций, романтически и квазирелигиозно преувеличивался, кроме того, он ориентировался на образ харизматического вождя (Führer) в лице «Бога, героя, мастера».

В воспринимаемом со скепсисом обществе господствуют рациональные и рыночно ориентированные принципы обмена и пользы, в то время как «союз», по словам Шмаленбаха, отличается «совершеннейшей преданностью, готовностью к пожертвованию и способностью безоговорочно и без остатка отдать себя». «Союз» был, кроме того, специфически мужской социальной организацией, где женщины в силу их половых особенностей могли препятствовать абсолютному объединению.

Для Шмаленбаха, как и для Ф. Тённиса, а также многих других представителей «формальной социологии», речь не шла о личных пристрастиях или оценках. Не только «общность» и «общество», но и «союз» не идентифицировались с конкретными историческими формами социальных образований, для социологов в большинстве своем они были исключительно идеальными типами, которые в принципе могли существовать в любую историческую эпоху.

Но все представления об «общности», «союзе», а также «ордене», сформулированные в Веймарской Германии, обладали терминологическим родством с ключевыми пунктами национал-социалистической идеологии<sup>24</sup>. Как пишет Эрнест Геллнер: «Нацизм, которому удалось вновь ритуализовать политику, привнес в анонимное индустриальное общество (Gesellschaft) мощную иллюзию общности (Gemeinschaft). Он соединил, и весьма эффективно, дисциплину индустриального общества с дисциплиной монархии, сплотив на эмоциональном уровне культурно-однородную группу»<sup>25</sup>. Это объясняет, почему так быстро, практически сразу же после прихода к власти Гитлера, сфокусированные в понятии «общность» мотивы поведения стали воплощаться в реальную практику. И прежде всего, нацистские юристы одними из первых смогли приспособить их для потребностей и нужд нацистского государства, подвергая нападкам теорию естественного права и равенство индивидов перед законом, воздвигнув на их месте псевдоправовые конструкции, в основе которых лежали представления об общности, но трактуемые уже в расовом и националистическом<sup>26</sup> духе.

В отличие от юриспруденции и философии, ставших благодаря деятельности таких фигур немецкого интеллектуального пространства, как М. Хайдеггер и К. Шмитт, объектами повышенного внимания историков науки последних лет, собственно историография оставалась вне поля зрения не только самих историков, но и всего немецкого общества<sup>27</sup>. Историческая наука воспринималась в массовом сознании чаще всего как отрасль знания, рационально устроенная, способная «без гнева и пристрастий» анализировать прошлое. Но сегодня стало ясно, что эмоциональность историков проявляется практически на всех этапах научного творчества; не только выбор предмета исследования, но и сама аналитическая работа сопровождается опорой на чувства. Да собственно, и язык исторических сочинений, предпочитаемые слова, понятия, речевые обороты — все это, без сомнения, говорит о важности чувственной стороны в профессии историка.

В работах немецких историков первой половины XX века понятия, служившие источником повышенной суггестивности, встречались не менее

часто, чем в работах представителей иных «наук о духе». Многие из исторических понятий, являющиеся, по словам О.Г. Эксле, составной частью «политико-социального медиевализма»<sup>28</sup>, лишь недавно стали предметом пристального внимания историков, и прежде всего тех, кто работает в русле такой немецкой парадигмы, как «история понятий» (*Begriffsgeschichte*). Сегодня в центр внимания исследователей попали такие «исконно» средневековые слова, как «честь», «сословие», «иерархия», «верность» и, конечно же, «фюрер», «раса» и «рейх»<sup>29</sup>.

Мы можем наблюдать поразительную преемственность в жизни немецкого исторического цеха, когда, по словам историографа Бернда Фауленбаха, «континуитет немецкой историографии — не только в ее методологии, но также в ее ключевых историко-политических представлениях — находится в своеобразном контрасте с дисконтинуитетом немецкой политической истории XIX—XX веков»<sup>30</sup>. По мнению Фауленбаха, к подобного рода ведущим представлениям историографии Германии принадлежит положение об особом, принципиально отличном от Запада немецком историческом пути (*Sonderweg*). Это представление, насколько бы различным и оформленным оно ни было, решительно формировало, в привязке к обстоятельствам, образ немецкой истории, решая вопрос о значимости тех или иных факторов и событий, устанавливая актуальные связи и выдвигая приоритеты<sup>31</sup>.

## 3

Современная историография «особого пути» содержит сотни работ, затрагивающих самые разные аспекты развития данного метанарратива<sup>32</sup>. Но большинство авторов, подробно останавливаясь на причинах возникновения и сегодняшнем состоянии этой формы историописания, первостепенное внимание уделяют политическим и идеологическим предпочтениям немецкого исторического сообщества, оставляя без внимания их актуальные ориентации, желания и нормы, выраженные чаще всего на эмоциональном, чувственном уровне. Поэтому правильнее спрашивать о долговременных интеллектуальных диспозициях (предрасположенностях) историков, проявляющихся не только в совокупности знаний, устойчивых мыслительных формах, обыденных представлениях и картинах мира, но также в способах чувствования всего исторического сообщества. Речь нужно вести не столько о строго фиксированных политических идеях и идеологиях, подобных «консерватизму» или «либерализму», хотя и от них нельзя абстрагироваться, но прежде всего о когнитивных, аффективных и этических предрасположенностях, о позициях и жизненных ориентирах отдельных личностей и групп в целом, в том числе и историков<sup>33</sup>.

Историки Германии не могли представить себя вне тех перемен, что произошли в их стране, стремясь не только зафиксировать, но и принять в них активное участие, сделав свои, во многом иррациональные и аффективные устремления, общезначимыми. И роль обыкновенных статистов их никак не устраивала. «Мы, ученые, — заявил немецкий медиевист Герман Геймпель (1901—1988) после прихода Гитлера к власти, — не являемся декораторами, которые вслед за строителями с помощью отделки делают дом немного красивее... Скорее всего, мы возводим его заново. Мы строим в наших сердцах из надежных камней беспощадного правдолюбия прошлую, настоящую, будущую Германию»<sup>34</sup>. Тогда же известный специалист по эт-

нической истории немцев Эрих Кейзер (1893—1968) так определил вектор развития исторической науки: «Вероятно, в будущем останутся лишь политические историки, но не в том устаревшем смысле, что каждый историк исключительно или по преимуществу будет заниматься историей государства, но в том смысле, что он везде и всегда будет ориентировать свое исследование и свое преподавание на политические потребности своего народа»<sup>35</sup>. Именно этим можно объяснить многочисленные примеры сотрудничества немецких историков не только с националистическими, но и фашистскими кругами в рамках разнообразных проектов, инициированных как властью, так и самими учеными, причем практически на всех этапах существования Германии с 1918 по 1945 год. Они воспринимали себя как единую группу с общим мировоззрением, определенным комплексом идей и убеждений, сформировавшихся не столько под влиянием общности полученного образования и высокого социального статуса, сколько благодаря осознанию собственной исключительности и высшего призвания стоять на страже немецкой культуры, государства и общества. И катастрофические события, обрушившиеся на современную им Германию, лишь укрепили их уверенность в осознании собственной значимости.

Подобная исключительность всегда была свойственна немецкой интеллектуальной элите. Именно поэтому крушение традиционного порядка старой Европы, поражение в войне и революция оказались для них внезапными и катастрофическими. Связанное с ними напряжение в обществе и культуре было столь велико, что немецкие историки крайне болезненно восприняли свершившийся экзистенциальный перелом. Вообще в истории немецкой исторической науки XX века было немало подобных «точек бифуркации», определявших как перспективы развития науки, так и ценности целых поколений. Общепризнанным является тот факт, что определенное единство внутри поколений не сводится исключительно к разнице в возрасте. Не последнюю роль в генерационной идентификации играет опыт пережитого, реакция на особо значимые явления общественной жизни — «смену времен»<sup>36</sup>. Первая мировая война и последовавшая за ней революция как раз и стали такими явлениями, определив вектор развития всего научного сообщества.

В современной немецкой историографии принято различать среди историков веймарской эпохи три группы: 1) группа либерально настроенных историков, едва представленная в Германии в 1920—1930-е годы и в большинстве своем эмигрировавшая после прихода к власти Гитлера; 2) небольшая группа так называемых «республиканцев разума», признававших необходимость Веймарской республики, в силу ее интегративного характера и способности вывести страну из послереволюционного хаоса; будучи сторонниками республики, они не являлись сторонниками демократии, оставаясь «монархистами сердцем»; 3) бесспорно доминировавшей частью исторического сообщества Германии в 1920—1930-е годы являлась консервативная группа, настроенная крайне реваншистски и националистически<sup>37</sup>. Несмотря на то что первоначально подобного рода классификация была предложена восточногерманским историком Г. Шляером, она нашла поддержку и среди западногерманских ученых и продолжает воспроизводиться с небольшими изменениями вплоть до сегодняшнего дня<sup>38</sup>. В основе приведенной классификации лежит политический критерий отношения историков к определенной форме государства, в нашем случае к Веймарской республике и нацистской Германии. Историки в этом случае вы-

ступают лишь как простые «современники» происходящих общественно-политических изменений. Но актуальные историко-научные исследования рассматривают науку как открытую, динамично развивающуюся систему, которая не только реагирует на внешние по отношению к науке раздражители, но и сама способна становиться активным участником событий.

Первая мировая война, без сомнения, обозначила глубокую пропасть в европейском, прежде всего франко-немецком, научном ландшафте. Со стороны победителей она привела не только к официальному разрыву культурных отношений с Германией, были прерваны и многочисленные персональные контакты немецких историков с их франко-бельгийскими коллегами. Разнообразные, учрежденные еще до 1914 года коммуникативные структуры и личные связи были разрушены войной и последовавшим за ней Версальским миром. Принимая во внимание опустошительные последствия самой войны, а также поведение интеллектуалов всех воюющих держав, предпосылок для восстановления прежних научных отношений практически не осталось. Не было заключено, прежде всего, «духовного перемирия»<sup>39</sup>.

Произошедшая еще до войны «национализация мышления», затронувшая в том числе и историческую науку, не исчезла после 1918 года, а, напротив, расцвела пышным цветом. На фоне обострившейся во время войны и особенно после нее «исторической битвы за Рейн»<sup>40</sup>, в которой историки принимали участие с удвоенной силой и гигантскими интеллектуальными затратами, едва ли было мыслимо хоть какое-нибудь научное сотрудничество. Война против западных стран, воспринимавшаяся большинством немецких ученых как война «культуры» против «цивилизации» с ее «идеями 1789 года», должна была поразить противника в первую очередь интеллектуально, истребив сами основы его культурного и национального самосознания<sup>41</sup>.

Исполняемая с помощью пера военная служба многих известных немецких историков надолго усложнила восстановление научных отношений. Ставшая идеологической антитеза «Немецкий дух vs. Западная Европа» оставалась вирулентной еще долгое время после войны. Большинство немецких историков осознавали себя стоящими перед серьезными политически актуальными задачами, к которым в первую очередь относились: борьба против Версальской системы, против потери Эльзаса и Лотарингии, а также оккупации сперва Рейнланда, а затем Рура. Как заметил Ганс Ротфельс (1891–1976), немецкий историк, вынужденный после прихода нацистов к власти эмигрировать из Германии из-за своего еврейского происхождения, в 1920–1930-е годы большая часть научной энергии поглощалась актуальными политическими вопросами, и прежде всего «вопросом о единственной ответственности Германии за начало войны»<sup>42</sup>.

Место необходимой дискуссии о собственном печальном опыте поражения и о роли своей корпорации в контексте ведения духовной войны заняли обвинения в извечном направленном против Германии экспансионизме Запада вообще и Франции в частности, где Франция зачастую обозначалась как «патологический», «смертельный враг»<sup>43</sup>. Все эти трудности привели к тому, что и после 1918 года «немецкий особый путь» продолжал подчеркиваться. «Германское» против «романского» (или гальского), немецкое государственное устройство против западного, немецкая культура против западной цивилизации. Естественно, что эта форма национализма существовала еще до 1914 года, заявив о себе уже во времена романтиков и «освободительной войны» против Наполеона, а в годы Первой мировой войны благодаря как собственной пропаганде, так и заявлениям союзников

приобрела совершенно ненормальные черты. По мнению немецких историков, на протяжении XIX века Германия с сожалением наблюдала, как уподобляются друг другу Англия, Америка и Франция, но во главе этого прозападного, направленного прежде всего против Германии движения всегда, и особенно после Великой французской революции, стояла Франция.

Один из лучших немецких знатоков истории Великой французской революции, историк Адальберт Валь (1871–1957), в одном из своих выступлений так описал эту антигерманскую политику Франции: «Мы заглянули сейчас в совершенно грандиозную борьбу, которая сегодня все еще продолжается и которую гораздо проще понять как борьбу добра со злом. На одной стороне здесь сражаются Просвещение и Французская революция; на другой стороне романтизм, историческая школа и фёлькишское (почвенно-народническое) понимание XIX века». Где здесь сторона добра, а где зла, долго гадать не приходится. Сущностью идей 1789 года для А. Валя был «совершенно наивный индивидуализм, рационализм, стремление к материальному счастью, которые о жизни государства ничего не хотят знать»<sup>44</sup>.

«Запад» в качестве предмета исторического исследования представлял всегда в свете дискуссии по вопросу об ответственности за развязывание войны и по вопросу о Версальском мире. Большое значение имела соответствующая культурная переработка исторического противостояния Германии и Франции. При этом, как показывает пример Германа Онкена (1869–1945), в центре актуальных политически мотивированных исследований оказывался вопрос о целях и методах французской внешней политики<sup>45</sup>. Различные высказывания немецкого историка добавляют показательные примеры этого «антифранцузского дискурса», напоминая без устали об «агрессивной структуре французской внешней политики». По его мнению, уже со времен Ришелье проводилось то, «что французы надменно пытаются называть своей “исторической рейнской политикой”». Это была программа, которая имела своей целью не что иное, как попытку «отменить решения 1925 года», но к этой же традиции, «на которую француз оглядывается с нескрываемой гордостью», принадлежит также то, «что он (француз) не считается ни с чем так легко, как с чужим правом на жизнь — основываясь либо на силе, когда моментом правит Марс, либо на гибкости адвокатского искусства, когда другое расположение звезд требует иной тональности»<sup>46</sup>.

Профессор Университета города Киль Отто Беккер (1885–1955), соглашаясь с Онкеном, считал Версальский договор лишь «соответствующим тогдашнему положению вещей инструментом французской политики уничтожения, направленной против Германии (прежде — против Немецкого союза). Сознательно фантастическими, количественно, качественно и хронологически не ограниченными требованиями дани Франция хотела не только экономически разорить Германию, но сокрушить ее невыполнимостью своих требований и сохранить возможность вмешательства всеми средствами военного принуждения»<sup>47</sup>. Названные историки были глубоко убеждены в том, что этот «смертельный враг» только и ждет момента, как выразился Эрих Маркс (1861–1938), «вставить свой рычаг в любую образовавшуюся трещину» Германского рейха<sup>48</sup>. Даже Ф. Мейнеке (1862–1954), не заподозренный в полемических преувеличениях, в 1923 году сравнил положение Германии, установленное по преимуществу Францией, с дюреровским рыцарем — между смертью и дьяволом. «Демон с Запада, который впился своими когтями в несущего нас коня, нетерпеливо, с горящими глазами, ждет момента, когда мы спешимся и станем его беззащитной добычей»<sup>49</sup>.

Дальнейшим следствием Версальского договора, воспринимаемого как абсолютно несправедливый и безжалостный, стало отторжение всех идей, что пришли с Запада. Некоторые ординарии из принципиальных соображений не признавали выросшие из французского Просвещения и Революции принципы, и прежде всего парламентскую демократию. Преподававший в Техническом институте Штутгарта Гельмут Геринг (кузен Германа Геринга, ближайшего сподвижника Гитлера) так оценивал парламентское устройство: по его мнению, демократически устроенные государства не являют человечеству никакого прогресса, так как в них не изменились ни техника захвата власти, ни ее расширение. «Во имя мировой совести, всеобщего мира, человечества, свободы, справедливости, общей экономики проводится совершенно другая современная завоевательная политика... Прямая аннексия сегодня является устаревшей мерой. Невидимыми инстанциями, невидимым контролем, невидимой оккупацией, правильно созданными международными комиссиями можно при искусных гражданско-правовых формулировках установить превосходно функционирующее чужеземное владычество»<sup>50</sup>.

Представления других историков были менее непреклонны, парламентско-демократическую систему они признавали непригодной исключительно для Германии, исходя прежде всего из своеобразно понимаемого исторического опыта. Известный немецкий историк Герхард Риттер (1888—1967) в 1921 году, отвечая на упреки своего друга Германа Витте, писал: «Но при всем том не подумай, пожалуйста, что я стал другом парламентской системы. Я, как и прежде, придерживаюсь того мнения, что форма монархически-конституционного устройства, которую мы развивали до августа 1914 года, в принципе для Германии была совершенна»<sup>51</sup>. Даже после десятилетия «демократического эксперимента» большинство немецких историков было уверено, совершенно независимо от их принципиального отношения к демократии, что с этой республикой «государства не создашь» — как выразился историк из Бонна Фриц Керн (1884—1950). Он констатировал очевидный недостаток в ясных, основополагающих, общественно признанных принципах, в исчезнувших ответственных гражданах, вместо которых наблюдается господство «алчных» классов и индивидов, которые послушно обслуживаются избирателями<sup>52</sup>. По его мнению, демократия как идея вполне хороша, но ее воплощение в Германии превратилось в собственную пародию; современная демократия подобна «бесполезному телу», разрываемому «темными и неясными инстинктами массы»<sup>53</sup>. И никакая воля победителей не заставит Германию встать на чуждый ей путь государственного устройства, так как немецкое государство принципиально отличается от своих западных соседей и историки «доказывали» это с опорой на исторический опыт.

## 4

Ведущий немецкий медиевист Теодор Майер (1883—1972) в своей речи, произнесенной по случаю 62-й годовщины образования Германского рейха, сравнивая особенности государственного устройства Франции и Германии, заметил, что между ними существует не временная разница (как хотелось бы немецким либералам), а разница сущностная<sup>54</sup>. В отличие от централизованного, монистического государства у западного соседа,

Германия на всех этапах своей истории являлась воплощением дуалистического варианта развития, когда наряду с имперскими властями существовали земельные органы власти. Несмотря на то что оба соседних государства несут в себе «традиции Карла Великого» и оба принадлежат к «романо-германской семье народов средневекового Запада», их развитие принципиально различно, так как, по словам Майера, «сходство элементов не означает сходства развития»<sup>55</sup>. Для Франции, в силу ее полного включения в мир латинской цивилизации, римское государственное устройство явилось «важнейшим фундаментом для [построения] средневекового и современного государства». Происхождение же государственности в Германии совершенно самостоятельно и слабо связано с римскими традициями. «Некоторая однородность» в развитии двух соседних государств стала возможна лишь «в новейшее время, особенно в XIX веке, благодаря переносу французских учреждений, которые совершенно не подходили немецкой сущности и немецкому государству»<sup>56</sup>.

В то время как многие немецкие историки разрабатывали идеологическое клише о «смертельном враге» и непрерывной вражде народов, в среде веймарских романистов, занимавшихся «культуроведением», складывался миф о «сущностном» антагонизме между немцами и французами, подкрепленный национально-психологическими теориями<sup>57</sup>. Можно назвать таких властителей дум межвоенного периода, как ученые-романисты Эдуард Векслер<sup>58</sup> и Эрнст Роберт Курциус<sup>59</sup>, эссеисты Фридрих Зибург<sup>60</sup> и Герман Кейзерлинг<sup>61</sup>, в чьих произведениях создавался несколько популярный, настолько и фальшивый образ современной Франции как страны традиционной, «статичной» и постоянно находящейся в упадке<sup>62</sup>.

Находившееся в центре их публицистики антирезное мышление менее всего было нацелено на восприятие культурных особенностей соседних стран, но скорее должно было служить делу познания и утверждения собственного своеобразия. «Оставим всё таким как есть, отстоим наши различия и постараемся лучше понять себя» — так звучал призыв Э.Р. Курциуса, на основе которого он хотел сформулировать в 1922 году основы будущего франко-немецкого понимания<sup>63</sup>. Наглядным примером такого восприятия стала популярная в Германии книга Ф. Зибурга «Бог во Франции?», вышедшая в 1929 году и в скором времени переведенная на французский язык. Автор писал: «Я... неустанно образом сопоставляя себя с Францией, все более становлюсь немцем». Немецкую и французскую «сущности» (Wesen) Зибург понимал как «два полюса человеческого бытия»<sup>64</sup>.

Этот национально-психологически ориентированный образ Франции, который в 1920-е годы доминировал в немецком общественном сознании, проявлялся как у сторонников, так и у явных противников немецко-французского сближения. Причем, как утверждает Эрнст Шулин, «государственная политика Бриана и Штреземана была более примирительной, чем общественное мнение обеих стран. В высказываниях [ученых] речь шла о различной сущности, различном национальном характере французов и немцев. Это понималось не только как политическая, но и как национально-психологическая проблема»<sup>65</sup>.

Несмотря на то что среди историков 1920–1930-х годов представления немецких романистов были распространены не так значительно, и среди них находили поддержку мифы об абсолютном различии национальных характеров соседних народов. Рожденный немецкими интеллектуалами миф о «вечном французе» был воспринят в качестве мировоззренческого

конструкта представителями разной политической окраски. Именно поэтому мы должны согласиться с тезисом, предложенным Жераром Роле, согласно которому в межвоенный период можно говорить лишь о единственном образе Франции, сложившемся в немецком общественном сознании. Традиционная схема деления интеллектуалов по политическому признаку здесь не работает, так как стереотипный образ Франции как страны «национализма» и «цивилизаторской миссии» присутствует во всем спектре антифранцузского дискурса<sup>66</sup>. На фоне духовного кризиса первой немецкой республики западный сосед стал пониматься не только как «смертельный враг», которого надо одолеть, но и как необходимый элемент создания собственной коллективной идентичности.

После проигранной войны политическое и духовное противостояние с Францией явилось надежным средством укрепления народной общности (Volksgemeinschaft). Здесь можно вспомнить «антифранцузский фестиваль»<sup>67</sup>, устроенный в 1925 году по случаю «тысячелетнего юбилея» принадлежности Рейнланда «немецкой почве»<sup>68</sup>. Безусловно, многие немецкие историки и после 1918 года были привязаны к «смертельному врагу», конечно, не так страстно, как до войны, особенно те, кто, как Александр Картелири, жил во Франции или, как Роберт Хольцманн, учился в Страсбургском университете. Даже у такого ярко выраженного историка националистической окраски, как Йоган Галлер (1865—1947), выделявшегося своей антифранцузской направленностью, можно встретить неизменный интерес к культуре, и особенно языку, соседа. Современный исследователь Хериберт Мюллер, имея в виду то очарование французской культурой, что испытывал не только Галлер, но и многие другие немецкие историки, резюмировал их восприятие формулой: «восхитительный смертельный враг»<sup>69</sup>.

Но наиболее ярко подобного рода амбивалентное отношение к своему западному соседу продемонстрировал известный медиевист Германн Геймпель. Начиная с 1933 года в своих многочисленных работах ученый выступал за пересмотр немецкого Средневековья в духе времени, то есть националистическим (völkisch) образом, когда «под гнетом нынешней судьбы» должно произойти коренное перетолкование истории средневекового рейха<sup>70</sup>. Изучая историю средневековой Европы, историк изображал Германию жертвой империалистических устремлений Франции, в то время как немецкие правители, по его мнению, в своей политике всегда «заботились об угодном Богу состоянии мира». «Запад, — заявил он сразу после прихода нацистов к власти, — это больше не Франция цивилизаторского империализма, безопасности, восточных союзов и буржуазной страховки, чью страховую премию снова и снова оплачивает ослабленная Германия. Но Запад есть и будет Германией истины»<sup>71</sup>.

Его несколько не смущало сотрудничество с нацистскими властями, напротив, он связывал с ними надежды на восстановление былого могущества Германской империи и возвращения ей прежней роли в мире, которой она была несправедливо лишена. По его мнению, целью Германии является лишь возвращение того, что было у нее отобрано, на большее она не претендует. Он постоянно подчеркивал исключительно мирный характер политики нацистов, в том числе и в отношении соседней Франции. Насколько немецкий историк заблуждался, свидетельствует его доклад, прочитанный 14 июля 1939 года, то есть незадолго до начала мировой войны. Здесь он в очередной раз обрушился на агрессивные планы Франции, которые она пытается осуществить начиная с 1870 года, ведя борьбу за ка-

ролинское наследство. Помимо территориальных притязаний у западного соседа присутствует жажда духовной экспансии, но с приходом Гитлера к власти эта борьба «враждующих братьев» закончится, так как Германия «благородно отказалась от немецкого реванша за Версаль»<sup>72</sup>.

Спустя всего несколько месяцев после начала боевых действий против «коварного, но тайно любимого брата» Геймпель писал: «Франция снова вступила в войну против Германии... Война с Францией — это нечто особенное, она имеет особое значение, значение общности и вражды одновременно. Общность здесь нечто гораздо большее, чем многократно признанное англо-немецкое “родство”, больше, чем тощий сентиментальный европеизм. Это скрытая любовь и открытая ненависть, это враждебное братство»<sup>73</sup>.

Восхищение, с которым историки самых разных научных и политических направлений оценивали успехи внешней политики национал-социалистов, достигло своей кульминации в начале 1940-х годов, после победы над Францией. Восторгаясь военно-политическими победами Гитлера (захватом Рейнланда, аншлюсом Австрии и решением так называемых судетского и польского вопросов), профессор из Бреслау Герман Аубин (1885—1969) продемонстрировал свойственный большинству историков национал-консервативный образ мысли: «В невообразимо короткое время... произошло объединение всех разобщенно проживавших немцев, за исключением жителей Швейцарии и Эльзаса с Лотарингией, но развитие это так же быстро прорвалось через только что достигнутые рамки национального государства. С установлением протектората над Богемией и Моравией, с предоставлением защиты Словакии, подчинением Польши вплоть до Буга Третий рейх основательно изменил свою суть. И когда мы прислушиваемся, то для нас сегодня звучит призыв к старому Первому рейху»<sup>74</sup>. Тезис о преемственности средневекового и современного Германского рейха одобрялся историками повсеместно. «Великогерманский рейх, — пишет медиевист Теодор Майер, — возобновляет вновь свое историческое развитие там, где ему 700 лет назад дали остановиться Штауфены»<sup>75</sup>.

Среди восторженных почитателей внешнеполитического таланта «фюрера» были не только такие представители исторического цеха, как Франц Петри (1903—1993) и Франц Штайнбах (1895—1964), чье мировоззрение было абсолютно нацистским и чьи экспансионистские планы были созвучны их научным убеждениям<sup>76</sup>, но и историки, чья дистанцированность от нацистов не была ни для кого секретом. Нестор немецкой исторической науки Ф. Мейнеке, уже лишенный к тому времени всех своих постов, и прежде всего должности редактора в «Историческом журнале», после завоевания Франции не скрывал своих эмоций: «Радость, восторг и гордость за эту армию определенно доминируют во мне. Возвращение Страсбурга! Как при этом может не биться сердце. Это было удивительное и, пожалуй, величайшее позитивное достижение Третьего рейха — за четыре года восстановить заново такую миллионную армию и сделать ее способной к таким успехам»<sup>77</sup>. В сентябре—октябре 1939 года — ко времени окончательного прояснения судьбы отошедших к Германии польских земель, по мнению американского исследователя немецкого «остфоршунга» М. Берли, немецкие историки проявили себя в полной мере. Это был их звездный час — «час экспертов»<sup>78</sup>, предлагавших исполнительной власти собственные проекты переустройства Польши. В своем письме от 18 сентября 1939 года все тот же Г. Аубин отмечал: «Наука не может просто ждать, пока ее спросят, она сама должна просить слова»<sup>79</sup>.

Сегодня общепризнано, что наука является коллективным проектом. Со второй половины XIX века феномен «научного сообщества» стал неотъемлемой частью существования науки вообще и историографии в частности. Внутри любого научного коллектива происходит выработка общих правил деятельности, определяются собственные методы работы и критерии истинности, а также утверждаются формы взаимодействия с обществом и государством. Немецкие историки, являясь, как и Т. Манн, представителями слоя «образованного бюргерства», названного Ф. Рингером «мандаринами»<sup>80</sup>, воплотили в своем поведении основные жизненные установки этого слоя, а также предложили соответствующие формы научного поведения, сохранившие свою актуальность не только до 1933 года, но и гораздо дольше, пережив катастрофу 1945 года<sup>81</sup>.

Насколько грандиозные изменения произошли в концептуальном, методологическом и организационном плане по сравнению, например, с концом XIX века, еще предстоит выяснить, но то, что опыт двух мировых войн и революции определил понятийный аппарат, систему аргументации, определенные познавательные установки и, самое главное, сформировал ментальные и эмоциональные предпочтения на последующие десятилетия, — сомнений не вызывает. Современные исследования демонстрируют, что эмоции и чувства локализуются не только в голове, но прежде всего в теле, они выступают в роли медиумов, постоянно связывая мир идей и ценностей с миром действий<sup>82</sup>. Несмотря на то что эмоции по сути своей субъективны, проявляясь в различных формах, образах и символах, рожденных культурой, они скрепляют индивида с его природным и социальным окружением, формируя тем самым общественное пространство. Кроме того, чувства и эмоции обладают способностью связывать прошлое с будущим, наши воспоминания также эмоционально окрашены, им свойственно изменяться не только темпорально (давно — недавно), но и качественно (тепло — холодно), что направляет социальный опыт от пережитого к ожидаемому. Причем это характерно и для такой формы памяти, как историческая наука, которая, вне всякого сомнения, повинна в том, что путь Германии на Запад, вспоминая известное высказывание современного немецкого историка Г.А. Винклера, был таким долгим.

В отличие от немецких историков первой половины XX века, Т. Манн, автор «Размышлений аполитичного», достаточно быстро осознал истинные угрозы существованию немецкой культуры. «Ту книгу, — вспоминал он, — я написал... страстно отдаваясь самопознанию и пересмотру всех основ моего мировоззрения, всех унаследованных мною традиций — традиций аполитичной немецко-бюргерской духовной культуры. Эта культура впитала в себя музыку, метафизику, психологию, пессимистическую этику, идеалистическую теорию индивидуалистической педагогики, — но с пренебрежением отвергала всякий политический элемент»<sup>83</sup>. Немецким же историкам потребовалось много больше времени, чтобы осознать свою сопричастность к духовному падению немецкой культуры, чему способствовало и критическое самопознание, представляющее собой, по словам все того же Т. Манна, «в большинстве случаев первый шаг к внутреннему перерождению»<sup>84</sup>.

## ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 *Мани Т.* Рассуждения аполитичного / Пер. с нем. Е. Елисеева // Вестник Европы. 2008. № 24 (<http://magazines.russ.ru/vestnik/2008/24/ma15.html>).
- 2 *Сдвижков Д.А.* Одинокий интеллигент в поисках середины: Томас Манн, Германия и Россия в XX веке // Россия и Германия. Вып. 2. М., 2001. С. 159; *Парамонов Б.* Шедевр германского «славянофильства» (О «Размышлениях аполитичного» Томаса Манна) // Звезда. 1990. № 12.
- 3 *Элиас Н.* О процессе цивилизации: Социогенетические и психогенетические исследования. Т. 1: Изменения в поведении высшего слоя мирян в странах Западной Европы. М.; СПб., 2001. С. 89.
- 4 *Элиас Н.* Указ. соч. С. 22.
- 5 *Мани Т.* Рассуждения аполитичного.
- 6 *Дмитриев А.Н.* Мобилизация интеллекта. Первая мировая война и международное научное сообщество // Интеллигенция в истории: образованный человек в представлениях и социальной действительности. М., 2001. С. 196–235.
- 7 Цит. по: *Müller S.O.* Die Nation als Waffe und Vorstellung. Nationalismus in Deutschland und Großbritannien im Ersten Weltkrieg. Göttingen, 2002. S. 85.
- 8 *Toller E.* Eine Jugend in Deutschland // Toller E. Gesammelte Werke. Bd. 4. München; Wien, 1978. S. 41. Эрнст Толлер (1893–1939) – известный немецкий писатель и драматург. Родился в Польше, в семье лавочника-еврея. Написал автобиографические записки «Юность в Германии» (1933). Организатор Советской Баварской республики, участник боев в Мюнхене. Эмигрировал в США после 1933 года, где покончил жизнь самоубийством.
- 9 *Frevert U.* Angst vor Gefühlen? Die Geschichtsmächtigkeit von Emotionen im 20. Jahrhundert // Perspektiven der Gesellschaftsgeschichte / Hrsg. von P. Nolte, M. Hettling. München, 2000. S. 105.
- 10 *Hampe K.* Kriegstagebuch. 1914–1919 / Hrsg. von F. Reichert, E. Wolgast. München, 2004. S. 775–776.
- 11 *Pandel H.-J.* Emotionalität – ein neues Thema der Sozialgeschichte? // Emotionen und historisches Lernen. Forschung – Vermittlung – Rezeption / Hrsg. von B. Mütter, U. Uffelman. Hannover, 1996. S. 41–61.
- 12 *Vester H.-G.* Emotion, Gesellschaft und Kultur. Grundzüge einer soziologischen Theorie der Emotionen. Opladen, 1991.
- 13 *Зиммель Г.* Проблема социологии // Тексты по истории социологии XIX–XX вв.: Хрестоматия. М., 1994. С. 357–358.
- 14 *Lepsius O.* Die gegensatzaufhebende Begriffsbildung. Methodenentwicklungen in der Weimarer Republik und ihr Verhältnis zur Ideologisierung der Rechtswissenschaft im Nationalsozialismus. München, 1994. S. 68, 108.
- 15 *Geiger Th.* Gemeinschaft // Handwörterbuch der Soziologie. Gekürzte Studienausgabe. Stuttgart, 1982. S. 20–26; *Riedel M.* Gesellschaft, Gemeinschaft // Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland / Hrsg. von O. Brunner, W. Conze, R. Koselleck. Bd. 2. S. 803.
- 16 *Теннис Ф.* Общность и общество. Основные понятия чистой социологии / Пер. с нем. Д.В. Складнева. СПб., 2002.
- 17 *Sombart W.* Studien zur Entwicklungsgeschichte des nordamerikanischen Proletariats // Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik. 1905. Bd. 21. S. 216.
- 18 *Troeltsch E.* Die Amerikanisierung Deutschlands // Troeltsch E. Die Fehlgeburt einer Republik. Spektakel in Berlin 1918–1922. Frankfurt am Main, 1994. S. 237–245.
- 19 *Теннис Ф.* Указ. соч. С. 6.
- 20 Цит. по: *Gebhardt W.* «Warme Gemeinschaft» und «kalte Gesellschaft». Zur Kontinuität einer deutschen Denkfigur // Der Aufstand gegen den Bürger. Antibürger-

- liches Denken im 20. Jahrhundert / Hrsg. von G. Meuter, H.R. Otten. Würzburg, 1999. S. 171.
- 21 Цит. по: *Шпакова Р.П.* Фердинанд Тённис. Забытый социолог? // Социологические исследования. 1995. № 12. С. 141. Более подробно о научном творчестве Р. Кёнига, вернувшегося после 1945 года из эмиграции и ставшего ведущим западногерманским социологом, см.: *Немецкая социология / Под ред. Р.П. Шпаковой.* СПб., 2003. С. 355–366.
- 22 Цит. по: *Nolte P.* Die Ordnung der deutschen Gesellschaft. Selbstenwurf und Selbstbeschreibung im 20. Jahrhundert. München, 2000. S. 165.
- 23 *Schmalenbach H.* Die soziologische Kategorie des Bundes // Die Dioskuren. Jahrbuch für Geisteswissenschaften. Jg. 1. München, 1922. S. 35–105.
- 24 *Schmitz-Berning C.* Vokabular des Nationalsozialismus. Berlin; New York, 2000. S. 261.
- 25 *Геллиер Э.* Пришествие национализма. Мифы нации и класса // *Нации и национализм / Пер. с англ. и нем. Л.Е. Переяславцевой, М.С. Панина, М.Б. Гнедовского.* М., 2002. С. 173.
- 26 См. прежде всего: *Ruethers B.* Entartetes Recht. Rechtslehren und Kronjuristen im Dritten Reich. 2. Aufl. München, 1989; *Stolleis M.* Gemeinschaft und Volksgemeinschaft. Zur juristischen Terminologie im Nationalsozialismus // *Stolleis M.* Recht im Unrecht. Studien zur Rechtsgeschichte des Nationalsozialismus. Frankfurt am Main, 1994. S. 94–125.
- 27 О спорах, разгоревшихся в Германии по проблеме существования историков в Третьем рейхе, подробнее см.: *Хряков А.В.* Историки при национал-социализме: жертвы, попутчики или преступники? (к оценке современных дебатов в немецкой исторической науке) // *НЛО.* № 74. 2005. С. 47–66.
- 28 *Oexle O.-G.* Die Moderne und ihr Mittelalter. Eine folgenreiche Problemgeschichte // *Mittelalter und Moderne. Entdeckung und Rekonstruktion der mittelalterlichen Welt / Hrsg. von P. Segel.* Sigmaringen, 1997. S. 307–364; *Oexle O.-G.* Das Mittelalter und das Unbehagen an der Moderne. Mittelalterbeschreibungen in der Weimar Republik und danach // *Spannungen und Widersprüche. Gedenkschrift für Frantisek Graus / Hrsg. von S. Burghartz.* Sigmaringen, 1992. S. 125–153.
- 29 *Schreiner K.* Führertum, Rasse, Reich. Wissenschaft von der Geschichte nach der nationalistischen Machtgreifung // *Wissenschaft im Dritten Reich / Yrsg. von P. Lundgreen.* Frankfurt am Main, 1985. S. 163–251; *Kröschell K.* Führer, Gefolgschaft und Treue // *Die Deutsche Rechtsgeschichte in der NS-Zeit: ihre Vorgeschichte und ihre Nachwirkungen / Hrsg. von J. Rueckert, D. Willoweit.* Tübingen, 1995. S. 55–76.
- 30 *Faulenbach B.* Die These vom deutschen Sonderweg und die historische Legitimation politischer Ordnung in Deutschland // *Geschichte als Legitimation? Internationale Schulbuchrevision unter den Ansprüchen von Politik, Geschichtswissenschaft und Geschichtsbedurfnis / Hrsg. von K.-E. Jeismann.* Braunschweig, 1984. S. 99.
- 31 *Faulenbach B.* Ideologie des deutschen Weges. Die deutsche Geschichte in der Historiographie zwischen Kaiserreich und Nationalsozialismus. München, 1980.
- 32 Назовем лишь некоторые работы: *Schulze W.* Vom «Sonderweg» bis zur «Ankunft im Westen» // *Geschichte in Wissenschaft und Unterricht.* Bd. 4. 2002. S. 226–240; *Welskopp Th.* Identität ex negativo. Der «deutsche Sonderweg» als Metaerzählung in der bundesdeutschen Geschichtswissenschaft der siebziger und achtziger Jahre // *Die historische Meistererzählung. Deutungslinien der deutschen Nationalgeschichte nach 1945 / Hrsg. von K.H. Jarausch, M. Sabrow.* Göttingen, 2002. S. 109–139.
- 33 Подобный подход характерен для работ немецкого историка О.Г. Эксле. См.: *Oexle O.G.* «Zusammenarbeit mit Baal». Über die Mentalitäten deutscher Geisteswissenschaftler 1933 B und nach 1945 // *Historische Anthropologie.* 2000. Heft. 1. S. 1–27.
- 34 Цит. по: *Matthiesen M.* Verlorene Identität. Der Historiker Arnold Berney und seine Freiburger Kollegen 1923–1938. Göttingen, 1998. S. 53.

- 35 *Keyser E.* Die Völkische Geschichtsauffassung // Preußische Jahrbücher. 1933. S. 19.
- 36 *Schulin E.* Weltkriegserfahrung und Historikerreaktion // Geschichtsdiskurs. Bd. 4: Krisenbewußtsein, Katastrophenerfahrungen und Innovationen 1880–1945 / Hrsg. von W. Küttler, J. Rüsen, E. Schulin. Frankfurt am Main, 1997. S. 165–188.
- 37 *Schleier H.* Die bürgerliche deutsche Geschichtsschreibung der Weimarer Republik. Köln, 1975.
- 38 *Nolte E.* Zur Typologie des Verhaltens der Hochschullehrer im Dritten Reich // Nolte E. Marxismus – Faschismus – Kalter Krieg. Stuttgart, 1977. S. 136–152; *Wolf U.* Litteris et Patriae. Das Janusgesicht der Historie. Stuttgart, 1996.
- 39 *Stern Fr.* Die Historiker und der Erste Weltkrieg. Eigenes Erleben und öffentliche Deutung // Stern Fr. Verspielte Größe. Essays zur deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts. München, 1998. S. 53.
- 40 *Wein Fr.* Deutschlands Strom – Frankreichs Grenze. Geschichte und Propaganda am Rhein 1919–1930. Essen, 1992.
- 41 *Schöttler P.* Geschichtsschreibung als Legitimationswissenschaft 1918–1945. Einleitende Bemerkungen // Geschichtsschreibung als Legitimationswissenschaft 1918–1945 / Hrsg. von P. Schöttler. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1997. S. 7–30.
- 42 *Rothfels H.* Die Geschichtswissenschaft in den dreißiger Jahren // Deutsches Geistesleben und Nationalsozialismus / Hrsg. von A. Flitner. Tübingen, 1965. S. 96.
- 43 Швейцарские ученые Даниель Фрай и Курт Шпильман говорят об образе врага, когда восприятие «другого» сводится к примитивному делению «хороший — плохой» и с реальностью «другого» не имеет ничего общего. См.: *Wagenlehner G.* Einführung // Feindbild. Geschichte. Dokumentation-Problematik / Hrsg. von G. Wagenlehner. Frankfurt am Main, 1989. S. 6–16.
- 44 *Wahl A.* Der völkische Gedanke und die Höhepunkte der neuern deutschen Geschichte. Langelsalza, 1925. S. 15.
- 45 *Gödde-Baumanns B.* Die Auseinandersetzung der Historiker mit der Niederlage. Frankreich nach 1870–71 – Deutschland nach 1918–1919 // Nachkriegsgesellschaften in Deutschland und Frankreich im 20. Jahrhundert / Hrsg. von I. Mieck, P. Guillen. München, 1998. S. 193–206.
- 46 *Oncken H.* Festrede zur Jahrtausendfeier der Rheinlande // Münchener Universitätsreden H. 4. München, 1925. S. 15.
- 47 *Becker O.* Weimarer Reichsverfassung und nationale Entwicklung. Berlin, 1931. S. 46.
- 48 *Marcks E.* Geschichte und Gegenwart. Berlin; Leipzig, 1935. S. 154.
- 49 *Meinecke F.* Werke. Politische Schriften und Reden / Hrsg. von G. Kotowski. Bd. II. Darmstadt, 1958. S. 357.
- 50 *Göring H.* Toqueville und die Demokratie. München; Berlin, 1928. S. 219.
- 51 *Ritter G.* Ein politischer Historiker in seinen Briefen / Hrsg. von K. Schwabe. R. Reichardt. Boppard am Rhein, 1984. S. 220.
- 52 *Kern Fr., Beckerath H. von.* Autarkie oder internationale Zusammenarbeit? Berlin, 1932. S. 22.
- 53 Ibid. S. 51.
- 54 *Mayer Th.* Geschichtliche Grundlagen der deutschen Verfassung. Festrede gehalten bei der Reichsgründungsfeier am 18. Januar 1933. Giessen, 1933.
- 55 Ibid. S. 5.
- 56 Ibid. S. 21.
- 57 *Bott G.* Deutsche Frankreichkunde. 1900–1933. Das Selbstverständnis der Romanistik und ihr bildungspolitischer Auftrag. 2 Bde. Rheinfelden, 1982.
- 58 *Wechsler E.* Espirit und Geist. Versuch einer Wesenskunde des Deutschen und des Franzosen. Bielefeld; Leipzig, 1927.

- 59 *Curtius E.R.* Die französische Kultur. Eine Einführung. Stuttgart, 1930. О спорах по поводу Эрнста Роберта Курциуса, разгоревшихся в Германии в 1990-е годы, см.: *Boehlich W.* Ein Haus, in dem wir atmen können. Das Neueste zum Dauerstreit um den Romanisten Ernst Robert Curtius // *Die Zeit.* 6.12.1996; *Wehle W.* Unversöhnt. Zum Streit um Ernst Robert Curtius // *FAZ.* 11.3.1998.
- 60 *Sieburg Fr.* Gott in Frankreich? Ein Versuch. Frankfurt am Main, 1929.
- 61 *Keyserling H.* Das Spektrum Europas. Heidelberg, 1928.
- 62 *Schulin E.* Das Frankreichbild deutscher Historiker in der Zeit der Weimarer Republik // *Francia.* Bd. 4. 1976. S. 659–673.
- 63 Цит. по: *Raulet G.* Gescheiterte Modernisierung. Kritische Überlegungen zur deutschen Frankreichkunde der Zwischenkriegszeit // *Begegnung mit dem «Fremden».* Grenzen – Traditionen – Vergleiche / Hrsg. von E. Iwasaki. Bd. 2. München, 1991. S. 297.
- 64 *Sieburg Fr.* Gott in Frankreich? Ein Versuch. Stuttgart, 1993. S. 30, 22–23. О Зибурге более подробно см.: *Krause T.* Mit Frankreich gegen das deutsche Sonderbewußtsein. Friedrich Sieburgs Wege und Wandlungen in diesem Jahrhundert. Berlin, 1993.
- 65 *Schulin E.* Das Frankreichbild deutscher Historiker in der Zeit der Weimarer Republik. S. 660.
- 66 *Raulet G.* Gescheiterte Modernisierung. S. 298.
- 67 *Schöttler P.* Der Rhein als Konfliktthema zwischen deutschen und französischen Historikern in der Zwischenkriegszeit // 1999. Zeitschrift für Sozialgeschichte des 20./21. Jahrhunderts. Bd. 9. Heft. 2. 1994. S. 54.
- 68 *Pabst K.* Die «Historikerschlacht» um den Rhein // *Historische Debatten und Kontroversen im 19. und 20. Jahrhundert* / Hrsg. von J. Elvert, S. Krauß. Stuttgart, 2003. S. 70–81.
- 69 *Müller H.* Der bewunderte Erbfeind. Johannes Haller, Frankreich und das französische Mittelalter // *Historische Zeitschrift.* Bd. 252. 1991. S. 265–317.
- 70 *Fleckenstein J.* Gedenkrede auf Hermann Heimpel // *In memoriam Hermann Heimpel.* Göttingen, 1989. S. 34.
- 71 *Heimpel H.* Deutschlands Mittelalter – Deutschlands Schicksal. Zwei Reden. Freiburg in Breisgau, 1933. S. 26, 34.
- 72 *Heimpel H.* Frankreich und das Reich // *Historische Zeitschrift.* Bd. 161. 1940. S. 229–243.
- 73 *Heimpel H.* Der Kampf um das Erbe Karls des Großen. Deutschland und Frankreich in der Geschichte // *DAZ.* 24.3.1940.
- 74 *Aubin H.* Vom Aufbau des mittelalterlichen Deutschen Reiches // *Historische Zeitschrift.* 1940. Bd. 162. S. 480.
- 75 *Mayer Th.* Deutschland und Europa. Marburg, 1940. S. 21.
- 76 Франц Петри был одним из немногих немецких историков, чьи работы были высоко оценены самим Гитлером, который не скрывал того, какие выводы он сделал из прочитанного. В записи от 5 мая 1942 года зафиксировано, что фюрер прочел работу Ф. Петри «Историческое наследие германского народа в Валлонии и Северной Франции», написанную в 1937 году. «Он с большим интересом почерпнул для себя, что эти территории, судя по названиям местностей, представляют собой исконно германские земли, которые у нас отняли и возврата которых мы можем с полным правом потребовать» (*Шикер Г.* Застольные разговоры Гитлера / Пер. с нем. И.В. Розанова. Смоленск, 1993. С. 252). Более подробно о роли Ф. Петри в становлении так называемого «вестфоршунга» см.: *Ditt K.* Die Kulturraumforschung zwischen Wissenschaft und Politik. Das Beispiel Franz Petri (1903–1993) // *Westfälische Forschungen.* Bd. 46. 1996. S. 73–176; *Schöttler P.* Die historische «Westforschung» zwischen «Abwehrkampf» und terri-

- torialer Offensive // Geschichtsschreibung als Legitimations. Wissenschaft 1918–1945 / Hrsg. von P. Schötler. Frankfurt am Main, 1997. S. 204–261.
- 77 Friedrich Meinecke an Siegfried A. Kaehler. 4.7.1940 // Meinecke Fr. Ausgewählter Briefwechsel / Hrsg. von L. Dehio, P. Classen. Stuttgart, 1962. S. 364.
- 78 *Burleigh M.* Germany Turns Eastwards. A Study of Ost-forschung in the Third Reich. Cambridge, 1988.
- 79 См.: Schreiben Hermann Aubins an Albert Brackmann vom 18.9.1939 (в публикации: *Ebbinghaus A., Roth K.-H.* Vorläufer des «Generalplans Ost». Eine Dokumentation über Theodor Schiders Polendenkschrift vom 7. Oktober 1939 // 1999. Zeitschrift für Sozialgeschichte des 20. und 21. Jahrhunderts. 1992. 7. Jg. S. 79).
- 80 *Rингер Ф.* Закат немецких мандаринов. Академическое сообщество в Германии, 1890–1933 / Пер. с англ. Е. Канищевой и П. Гольдина. М., 2008.
- 81 По мнению Фрица Рингера, идеалы мандаринов были сокрушены с приходом к власти Гитлера в 1933 году (см.: *Рингер Ф.* Указ. соч. С. 531). Но нам представляется, что в этом вопросе более прав Ю. Хабермас, отодвинувший закат мандаринской идеологии вплоть до 1970-х годов (см.: *Habermas J.* Die deutschen Mandarine (1971) // Habermas J. Philosophisch-politische Profile. Frankfurt am Main, 1985. S. 459).
- 82 *Scarry E.* Der Körper im Schmerz. Die Chiffren der Verletzlichkeit und die Erfindung der Kultur. Frankfurt am Main, 1992.
- 83 *Манн Т.* Культура и политика // Манн Т. Собр. соч. М., 1955. Т. 10. С. 288.
- 84 Там же.